



МИХАИЛ
ЗОЩЕНКО



Прелести культуры



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
3-88

Зошенко, Михаил Михайлович.

3-88 Прелести культуры : [сборник] / Михаил Михайлович Зошенко. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 352 с.

ISBN 978-5-17-153017-4 (С.: «Лучшая мировая классика»)

Серийное оформление и дизайн обложки В. Воронина

ISBN 978-5-17-061779-1 (С.: «Русская классика»)

Серийное оформление А. Кудрявцева

В этой книге собраны самые известные рассказы Михаила Зошенко — «На живца», «Обезьяний язык», «Аристократка», «Медицинский случай», «Веселенькая история» и другие произведения, принесшие автору популярность. Колоритные персонажи и нелепые ситуации... Потрясающий язык, ставший фирменной маркой Зошенко — мастера малых прозаических форм... Богатейшее знание человеческой психологии — в самых правдивых и забавных ее проявлениях...

Проходят десятилетия — но многие персонажи этих произведений по-прежнему живут рядом с нами. И это, возможно, одно из самых главных достоинств юмористической прозы Зошенко.

УДК 821.161.1-32

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© М.М. Зошенко, наследники, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023

ВОЙНА

1

До станции Кривые Горки третья рота мигом доехала — экстра. А на станции Кривые Горки слух прошел, дескать, не по правилу едем: положено приказом, кто на фронт — денежки вперед за два месяца. Ладно. Отдай денежки. Фунт хлеба и денежки — урожай не урожай.

А тут еще Федюшка Лохматкин — оптик по всем делам.

— Верно, — говорит, — положено это наивысшим начальством.

А с кого требовать? Начальство все впереди, а полуротный Овчинкин — шляпа и сам не в курсе.

Ладно. Нельзя ехать.

На станцию вышли. Кучками бродят. Торговлишка завязалась кой-какая. Только видят: стоит баба у звонка, веревку держит и очень грустно плачет. Тут же и военный с ружьем на нее насккивает.

— Прошу, — говорит, — честью, баба, отойди от колокола. Убью на месте! Звонить нужно, потому поезд пассажирский...

А баба ему такое:

— Не отойду, кормилец, от колокола. Убей ружьем, Христа ради... Отдай лисью шубу, пять фунтов масла!

А Федюшка уже тут. Народ растолкал ручкой.

— Чего, — говорит, — тут такое приключилось?

Баба слезой давится. Баба очень слезой давится.

— Так и так, — говорит, — отряд заградительный лисью шубу... Зачем, мол, тебе, баба, шуба? Это, дескать, спекуляция.

— Не по правилу это... — сказала толпа.

А тут еще с четвертого взвода — Ерш по фамилии.

— Фу-ты, — говорит, — братцы, товарищ Федя, да отдадим бабе шубу!

Тут все заговорили очень.

— Живут, — говорят, — одни великолепной жизнью, а другие погибают в мерзости. А шуба — вещь и стоит немалых денег.

Великий шум поднялся. А на шум — отряд заградительный, двенадцать человек, ружье к ружью.

— Разойдитесь, — кричат, — по мере возможности! Зачем этокое немыслимое скопление?

Слово за слово. Это, дескать, не по правилу, товарищи — шуба, пять фунтов масла.

Иные уже и винтовочки схватили, серьезно затворами щелкают, а Ерш и пулемет с лентами выкатил.

Отряд в двенадцать человек — в цепь и к лесу. Не иначе как окопаются на опушке. Смешно!

А народу все больше да больше. К цейхгаузу товарищи. Дверь ружьишком разбили. Добра там видимо-невидимо!

Баба тут взвизгнула очень тонко:

— Вон она, лисья шуба, пять фунтов масла!

А у самой каждое слово слезой омыто.

— Не по правилу это, — решили люди, осматривая лисью шубу. — Очень это не по правилу.

А тут вдруг Ерш бочонок в темном углу нашел. Рукой он по бочонку похлопывает, а сам такое:

— Фу-ты, братцы, а ведь это же масло.

— Совершеннейшее масло, — сказали люди, выкатывая бочонок из цейхгауза. — Совершеннейшее масло. Одни живут великолепной жизнью, а другие погибают в мерзости.

А Ерш все рукой по бочонку.

— Именно, — говорит, — великолепное масло. И какая может быть война? И какой государственный масштаб?

Тут все закричали сразу:

— Не нужно денег, если так... Без денег поедem, братцы, — экстра...

А очень великолепно жить в провинции. В столицах полная нехватка хлеба, а, скажем, в Устюге каждый, даже мало-мочный, с огорода изрядный достаток имеет. Да и что с огорода!

Председатель исполкома кур разводит, член тройки тоже кур разводит, доктор Гоглазов — кур, а комендант станции кролиководством занят.

Чудак необыкновенный — этот комендант станции. Всегда он на высоте положения. Огороды его уже на версту раскинулись. Кролики у него во множестве плодятся. Мирное ему житье.

Только нынче нехорошая штука с ним вышла. Не удался день. С утра не удался день. С утра свиньи грядку турнепса пожрали. Хорошо, если его свиньи — к жиру, а если, скажем, Ипатовых...

На станцию комендант серьезным пришел. А тут еще барышня с бантом телеграмму сует — дескать, срочно и секретной важности.

Телеграмму прочел комендант — телом затрясся.

«...белогвардейцы и мятежники. Поезд 433... Разоружить. Бочонок масла...»

«Гм! Штука... Свиньи турнепс пожрали... Штука!»

— Алло, исполком... Срочно и секретной важности... Так, мол, и так и, пожалуйста, соответствующие меры...

«Гм! Штука... Мои — так к жиру, но Ипатовы, как пить дать Ипатовы».

Комендант станции и председатель исполкома на высоте положения. И к полудню на всех заборах листовки наклеены. Дивятся очень прохожие. Что ж это, граждане? Листок...

На заборе театральная афиша — столичная труппа «Променад». Великолепные знаменитости.

Пониже корявая бумажка, и на ней: «Настоящая персидская оттоманка за полцены, с разрешения жилищной комиссии».

А рядом листок — и крупней крупного:

«Военное положение. Ходить до семи. Жиров полфунта... Белогвардейцы и мятежники...»

Штука! Как же так, граждане? Смешно — до семи. Если, скажем, секретарь исполкома, товарищ Бычков, в девять любовное свидание назначил. Любовная у него интрига с лета-месяца. А он в девять на Урицком мосту. Урицкий мост аж за тюрьму, в конец города. Гм! Смешно — до семи, если доктор Гоглазов... Тьфу ты, бес! А комендант-то, комендант-то как же с огородом?

Гм! Штука.

3

Председатель исполкома Петр Стульба с балкона слова лепит:

— Белогвардейцы и мятежники... Разоружить... Притянуть... Поезд 43... Бочонок масла...

Очень хорошо и длинно говорит председатель исполкома... Лепит — говорит, а сам руку этак вот, за пояс. Для истории. Иные так за борт или, скажем, — смешно даже — в карман, а Петр Стульба — за пояс.

— Позор! — сказал отряд матросов особого назначения и ряды вздвоил.

Котелки за спиной звякнули. Перемигнулись штыки с солнцем.

Напряглись клячонки. Клячонки-то очень напряглись — смотреть жалко. Еще бы — пушка трехдюймовая, пушкино дуло больше лошади.

Пушку эту у вокзала поставили дулом вдаль. Клячонок распрягли — нехай пасутся. А сами — в цепь.

Поезд едва до вокзала дошел — закричали как, задвигались матросы.

— Оружие! Оружие, сукины дети, кладите!

Дивится очень третья рота. Из теплушек лезет.

А впереди Ерш из четвертого взвода выюном вьется и всех подначивает:

— Не покоримся, братцы! Немыслимо положить оружие. Выкатим, братцы, товарищ Федя, пулемет, да и, пожалуйста, стрельнем, жажахнем по клёшникам!

И стрельнули бы (живут одни великолепною жизнью, а другие погибают в мерзости), да Федюшка тут выступил.

Ручки сложил на желудок, дескать, делегат и нету у него оружия, выступил.

— Совершенно, — говорит, — правое дело, товарищи. Можно ли подобное: лисья шуба, пять фунтов масла...

— Как? — подошли ближе матросы, — лисья шуба и масло?

— Да. Лисья шуба, пять фунтов масла.

— Как? — сказал комендант, высовываясь из окна, — пять фунтов масла?... Алло, исполком! Срочно и секретной важности...

— Как? — сказал председатель Стульба, вытаскивая руку из-за пояса, — турнепс, пять фунтов масла?

А Федюша — оптик по всем делам — говорит, землю роет. И даст же Бог такой словесный дар!

— Шуба, — говорит, — и масло. Можно ли подобное? А революции, мол, все очень даже преданны и даже иностранный капитал идут бить с радостью в сердцах. Бочонок же — будь он проклят! — был грех. Однако государственный масштаб и бочонок масла — смешно.

Тут матросы заговорили.

— Очень, — говорят, — вы великолепно сделали, братишки. Очень даже мы любимся вами.

А сами-то трех клешников к пушке засылают. Дескать, неловко. Дескать, запрячь клячонок, клячонок-то поскорей запрячь, а пока пушкино дуло в сторону. Уж очень правильное дело — нельзя.

Поговорили еще матросы, звякнули котелками, расправили клеши и — к дому.

А Федюшка гоголем ходит.

Полуротного Овчинкина совсем заслонил.

Прямо-таки забил полуротного Овчинкина.

Овчинкин даже с голосу спал — чай сидит пьет, а Федюшка командует.

— Садись, — кричит, — третья геройская по вагонам! Едем на позицию полячишек бить!

А через три больших станции и с поезда сошли. По целине тут тридцать верст — и позиция.

Кишкой растянулась рота по шоссе. А впереди Овчинкин. Овчинкин компасом покрутит, на карту взглянет и прет без ошибки, что по Невскому.

Вскоре в деревню в большую пришли. На ночь по трое в хату расположились. Федюша и Ерш наилучший дом заняли, а с ними и Илья Ильич — ротная интеллигенция.

А в доме том американка жила. Очень прекрасная из себя. Русская, но в прошлом году из Америки вернулась.

Расположились трое, картошку кушают, а Ерш все свою линию ведет.

— И какая, — говорит, — братцы, товарищ Федя, война? И какой государственный масштаб? В лесок бы теперь, в земляночку. А в земляночке — лежишь, куришь...

Но Федюша не слушает — глазом разговаривает с американкой.

Американка рукой по бедрам, Федюша глазом, — дескать, хороша, точно хороша. Американка плечиком, — дескать, хороша Маша, да не ваша... Федюша глазом соответствует.

И час не прошел, а Федюша уж, как Хедив-паша, с американкой на печи сидят.

Ерш внизу мелким бесом, а сам Илье Ильичу тихонечко:

— Скалозубая. И какой в ней толк? Зубами, гадина, целуется... А уж и сердцегрыз Федюша наш! Но только доведет, достукает его любовь-баба... А тут война. И какая теперь может быть война?.. В земляночку бы теперь... Свобода...

Вот и господин Илья Ильич — интеллигенция ротная, а как бы сказать, совершенно грустный из себя. А отчего грустный? Война. Человеку жить нужно, а тут война. Несоответствие причин.

— Да, — сказал Илья Ильич. — А ведь и точно плохо. А главное, радости никакой. И почему так? Что такое со мной произошло?..

Поднял голову Илья Ильич, смотрит: Федюша с печки вниз спускается.

— Ох, — говорит Федюша, — загрызла меня, братцы, американка. До того загрызла, что и слов нет. Сосет в груди. Остаться нужно. Эх, кабы день-два! Эх, мать честная, все пропадет! Останусь. А ведь останусь, братцы. Будь что будет! Не отступлюсь от ней.

Радуетя Ерш, лицо — улыбка.

— Да ну?

— Да. Останусь. Сама американка присоветовала. «Оставайтесь, — говорит, — винтовочки спрячу, вас — в овин до утра, а утром, коли начальство поинтересуется, скажу: ушли».

Ладно.

5

Американка фонарем светила, Федюша рядом под локо-ток, а Ерш и ротная интеллигенция сзади.

— Здесь, — засов отодвинула американка. — Сюда заходите. И ни Боже мой, куда не позову.

— Ладно.

Очень скверно в лицо пахнуло. А ведь что ж?

По доброй воле. Сели у стенки. Гм! Запах.

А у Ерша счастье на лице.

— Дальше-то что? — улыбается, — дальше-то, братцы, товарищ Федя, что? Ведь и государственный масштаб теперь к черту!.. А дальше-то не иначе как в лес. Дальше-то прямая дорожка в лес. Да только пугаться нечего — прокормимся, как еще прокормимся! А то, скажем, на почтовых... Такой-этакий... с деньгами... сто тысяч... С провизией... и девочка с ним... черная, красивенькая, кудряшечки этакие... Стой-постой! Откуда есть такой? Тут и стукнуть по черепу. И концы в воду. И лошади себе. И повозку себе...

— Да, — сказал Федюша, — а и шельма же она, братцы! Страсть люблю таких! «И ты, — говорит, — мне очень нравишься, Федюша. Больше жизни. Да только зачем нам жизни свои

зря спутывать? Ты голый, соколик, да и у меня по пятьсот две думских да кольцо дареное...»

— Плохо, — вдруг испугался Илья Ильич, — это что ж? Выходит, что в разбойники? Опять несоответствие причин. Гм... Дурак Ерш, а сказал каково хорошо: несоответствие причин! Но как все плохо. Даже если и в Питер сейчас, и то плохо. Здесь в навозе, да и там в навозе, на Малой Охте. На Малой Охте! И почему такое? Мог бы и в городе жить, а живу, черт знает, на Малой Охте. И ведь непременно у ветеринарного фельдшера Цыганкова. Хе-хе... И пустяки, что жизнь дрянь. Жизнь дрянь, но в гадости-то скорее радость найдешь. В грязи-то и всем хоть немножко, хоть чуть-чуть, да приятно. Чужую грязь мы не любим, а в своей — великое наслаждение. Вот знаю, а все плохо. А плохо-то в себе. Особое, может, неважное пищеварение, что ли... Что ж? В разбойники нужно... Хе-хе... Прямая дорожка.

— Прямая дорожка в лес, братцы, товарищ Федя, — бормотал Ерш, засыпая. — Говорят, объявилась атаманша-разбойница. Геройской жизни. Грабит, поезда останавливает.

«В разбойники, — думал Илья Ильич, закрывая глаза. — И что меня удержит? Россия... Гм... Может, России-то уже нет, да и русских нет. То есть, конечно, есть, да живут ли они? Может быть, все как я, может быть у всех — великое «все равно»...»

Под утро заснули трое и видели сны.

6

Уже и солнце проткнуло все щели в овине, а Ерш спит — раскинулся, лицо — улыбка, сам в золотых полосах, будто зебра.

А Федюша все в щель смотрит. Да только тихо на дворе: куры ходят, вон свинья у самого носа хрюкнула, а больше никого не видать. И что за причина такая?

Ротная интеллигенция тоже в щель — ничего. Ерш проснулся.

— Фу-ты, — говорит, — братцы, а ведь кушать-жрать хочется.

Только видит Федя: старуха на крыльцо мотнулась.

— Тс... — цыкает ей Федя, — ты, чертова старуха! Гм... Притча. Не слышит, чертова бабка, сук ей в нос!

Просидели час. Тихо.

Заспалась, должно быть, Маруся-американочка. Еще час просидели. Федюша начал засов ножом ковырять.

Ножом отодвинул засов.

— Сейчас, — говорит, — братцы.

И сам по двору тенью.

Только прибегает обратно — глаза круглые и сам не в себе очень.

— Нету, — говорит, — американки. Ушла чертова Марусяка. С полуротным с Овчинкиным вовсе ушла. Сама старуха — сук ей в нос! — призналась. Дескать, полуротный Овчинкин к вечеру вестового засылал, а к ночи и сам в гости пожаловал. Жрали, — говорит, — очень даже много, и все жирное, и спать легли вместе. А утром полуротный из дому, и Марусяка с ним. Вотсе ушла чертова Марусяка! Что ж теперь? Гроб.

Вышли на двор. Ушла, мать честная, и следов нет.

Посмотрел Федя на солнце, на дорогу посмотрел. И куда ушла? В какую сторону? Без компаса никак нельзя узнать.

— Эх, испортила американка жизнь! Угробила, чертова Марусяка! Очень даже грустно сложились обстоятельства.

Посмотрел Федя Лохматкин на Марусин дом — сосет в сердце.

«Красавица!» — подумал.

В окно глянул, а в окне старухин нос.

— Тьфу ты, мерзкая старуха, до чего скверно смотреть!

А тут Ерш, лицо — улыбка.

— Что ж, — говорит, — братцы, товарищ Федя, — судьба. И какая там война? И какой государственный масштаб? В лесок уйдем. Прямая дорожка без компаса.

И трое зашагали в лес.

Бродили в лесу до вечера. А вечером повис над болотом серый туман, и тогда все показалось бесовским наваждением.

Огонь развели веселый, но было невесело. До утра просидели очень даже грустные, а утром дальше пошли. Прошли немного — верст пять, и вдруг закричал Ерш:

— Едут!

Верно. Вдали негромко звенели бубенцы.

— Едут! — застонал Ерш. — Тащите же бревно, сук вам в нос!

Но никто не двигался.

А у Ерша паучьи руки — очень ему трудно из канавы бревно тащить.

Однако тотчас выволок бревно это и накатил на дорогу.

Били железом по камню лошади, и за поворотом показалась желтая повозка с седоком.

— Стой! — закричал Ерш. — Идем же, братцы, товарищ Федя!

— Стой, постой! — повторил Ерш и вытащил нож, подбегая.

— А-а!.. — дико закричал седок.

Во весь рост встал. Трясется челюсть. В руке револьвер.

Вздрыгнули лошади, лес ахнул тихонечко.

— Братцы, — тонко закричал Ерш, — так нельзя! Он револьвером... — И хотел к лесу. Но упал лицом в грязь и затих.

Выстрелил два раза седок. Железом бешено забили лошади, и скрылась желтая повозка.

А на бревне сидел Илья Ильич и тоскливо смотрел на Федюшку. За Федюшкой — красный след. Федюшке трудно ползти.

1921

ИСПОВЕДЬ

На страстной неделе бабка Фекла сильно разорилась — купила за двугривенный свечку и поставила ее перед угодником.

Фекла долго и старательно прилаживала свечку поближе к образу. А когда приладила, отошла несколько поодаль и,

любуюсь на дело своих рук, принялась молиться и просить себе всяких льгот и милостей взамен истраченного двугривенного.

Фекла долго молилась, бормоча себе под нос всякие свои мелкие просьбишки, потом, стукнув лбом о грязный каменный пол, вздыхая и кряхтя, пошла к исповеди.

Исповедь происходила у алтаря за ширмой.

Бабка Фекла встала в очередь за какой-то древней старушкой и снова принялась мелко креститься и бормотать. За ширмой долго не задерживали.

Исповедники входили туда и через минуту, вздыхая и тихонько откашливаясь, выходили, кланяясь угодникам.

«Торопится поп, — подумала Фекла. — И чего торопится. Не на пожар ведь. Неблаголепно ведет исповедь».

Фекла вошла за ширму, низко поклонилась попу и припала к ручке.

— Как звать-то? — спросил поп, благословляя.

— Феклой зовут.

— Ну, рассказывай, Фекла, — сказал поп, — какие грехи? В чем грешна? Не злословишь ли по-пустому? Не редко ли к Богу прибегаешь?

— Грешна, батюшка, конечно, — сказала Фекла, кланяясь.

— Бог простит, — сказал поп, покрывая Феклу епитрахилью.

— В Бога-то веруешь ли? Не сомневаешься ли?

— В Бога-то верую, — сказала Фекла. — Сын-то, конечно, приходит, например, выражается, осуждает, одним словом. А я-то верую.

— Это хорошо, матка, — сказал поп. — Не поддавайся легкому соблазну. А чего, скажи, сын-то говорит? Как осуждает?

— Осуждает, — сказала Фекла. — Это, говорит, пустяки — ихняя вера. Нету, говорит, не существует Бога, хоть все небо и облака обыщи...

— Бог есть, — строго сказал поп. — Не поддавайся на это... А чего, вспомни, сын-то еще говорил?

— Да разное говорил.

— Разное! — сердито сказал поп. — А откуда все сие окружающее? Откуда планеты, звезды и луна, если Бога-то нет?